

Алексей Митрофанов
Большая Никитская

Прогулки по старой Москве



Алексей Митрофанов
Большая Никитская.
Прогулки по старой Москве

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=25015588

ISBN 9785448549038

Аннотация

Большая Никитская – улица особенная. В отличие от большинства центральных радиусов города, здесь очень мало магазинов. Что же вместо? Московский университет. Консерватория. Театр Маяковского. Дом литератора. Здесь, разумеется, и публика совсем другая.

Содержание

Для любителей сладких наливок

6

Конец ознакомительного фрагмента.

33

Большая Никитская

Прогулки по старой Москве

Алексей Митрофанов

© Алексей Митрофанов, 2017

ISBN 978-5-4485-4903-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Большая Никитская – улица особенная. В отличие от большинства центральных радиусов города, здесь очень мало магазинов. То есть они имеются, особенно в начале, между Манежной площадью и памятником Тимирязеву, но все равно их меньше, чем, к примеру, на Тверской или на Маросейке.

Что же вместо магазинов? Московский университет. Консерватория. Театр Маяковского. Дом литератора. И дальше в том же духе. Так что эта улица – одно из самых популярных интеллигентских мест Москвы.

Здесь, разумеется, и публика совсем другая. В первую очередь бросается в глаза отсутствие у пешеходов объемных вещей. В крайнем случае – тощенький рюкзачок за спиной. И не удивительно – ведь на Никитскую не за шубами

и не за чайными сервизами ездят, а книжка или билетик на концерт не требуют особого вместилища.

Присмотревшись, обнаруживаешь, что и лица здесь немножечко иные, и одежда. Если Москва до сих пор как большая деревня, то здесь – видимо, сельский клуб, совмещенный со школой. Никто не лается, не матерится, не машет руками, отчаянно жестикулируя. Тут совсем другие люди, погруженные совсем в другие мысли. И эти мысли не нуждаются в чрезмерно бурном выражении.

Для любителей сладких наливок

Старое здание Университета (улица Моховая, 11) построено в 1793 году по проекту архитектора М. Казакова. Новое здание Университета (улица Моховая, 9) построено архитектором Е. Тюриньым в 1835 году.

Начинается улица с Университета. Слева – так называемое новое здание, справа – старое. Названия, конечно же, условны и известны только краеведам. Для простого обывателя все эти здания старые – причем безумно, безнадежно. А новое – то, что на Воробьевых горах (впрочем, если быть до конца честными, и университетская высотка – отнюдь не первой свежести).

Однако были времена, когда не то что комплекса на Воробьевых – здания по адресу «Моховая, 9» не существовало. Университет был один. И поэт Филимонов писал:

Вот он на Моховой,
высокий, светлый дом,
Наш храм науки и искусства,
Достоинств многих колыбель!
Здесь развились в нас ум и чувства,
Здесь мы постигнули духовной жизни цель.

А другой поэт того же времени, Дмитриев, говорил:

– Университет – совершенно безжизненное тело: о движении его и догадываешься, только когда едешь по Моховой и видишь сквозь окна, как профессора и жены их переворачивают на солнце большие бутылки с наливками.

Вероятно, он был недалек от истины. В первой половине позапрошлого столетия Москва вообще не отличалась бойким ритмом жизни.

* * *

Московский университет был основан в 1755 году по инициативе Михаила Ломоносова. Для тех времен событие было сенсационным – все-таки Россия была страной достаточно дремучей. Елизавета Петровна, тогдашняя императрица, особой приязни к наукам не испытывала. Да и не только она.

Но все же университет возник. Хотя и не в новой столице, в ту пору едва преодолевшей пятидесятилетний юбилей, а в старушке Москве.

Видимо, харизма Ломоносова была очень сильна.

Итак, Россия стала государством со своим университетом. И это событие впечатлило наших сограждан на долгие годы. В 1780 году, когда Московский университет праздновал свое двадцатипятилетие, поэт Ермил Костров написал оду:

Но кая радостна музыка

Еще мой пленный слух влечет?

Среди торжественного лика
Мне новый луч во грудь течет!
Сей храм, Минерве посвященный,
Ее столпами утвержденный,
Сияет вящей красотой.
В нем блеск сретается со блеском
И звучный глас с веселым плеском;
И что сей радости виной?

И, разумеется, Костров, поэт, можно сказать, придворный, главную заслугу все-таки приписывал Елизавете, в ту пору уже отошедшей в мир иной. Да так приписывал, что и не знаешь – плакать или смеяться:

Твой глас Елисаветы слуха
Чрез горы и леса достиг,
Превыспренность исполнив духа,
В ней сердце к жалости подвиг.
Она рекла с высот престола:
«Возникни ввыспрь, Москва! от дола
И ощути парнасский свет,
Упейся током Иппокрена;
В моих очах ты не забвенна,
Я исполняю свой обет».

Сам Ермил Костров был университетским бакалавром. Но это обстоятельство ни в коей мере не мешало ему выступать с такой причудливой моделью мироздания.

Кстати, в жизни Костров ни в коей мере не был ни высокопарным, ни напыщенным. Он, напротив, отличался озорным характером. Однажды, например, в столовой университета группа недовольных качеством еды студентов принялась бить тарелки и швыряться пирогами в эконома. Их, разумеется, сразу же утихомирили и повели разбираться к начальству. Каково же было удивление, когда среди смутьянов обнаружился бакалавр!

– Помилуйте, Ермил Иванович! А вы-то как сюда попали? – спросил у Кострова ошарашенный ректор.

– Из сострадания к человечеству, – с доброй улыбкой ответил Костров.

* * *

Сразу же, как только появился университет, возникла и культура подсказывания на экзаменах. Притом в роли подсказчиков нередко выступали сами экзаменаторы – им ведь не хотелось приходить на многочисленные пересдачи.

Как-то раз один студент, будущий автор «Недоросля» Д. Фонвизин, задал своему преподавателю вопрос:

– А почему на вас такая странная одежда? Пять пуговиц на кафтане, а на камзоле всего лишь четыре?

Ответ был таким:

– Пуговицы мои вам кажутся смешны, но они суть стражи вашей и моей чести, ибо на кафтане значат пять склонений, а на камзоле – четыре спряжения. Итак, извольте

слушать все, что говорить стану. Когда станут спрашивать о каком-нибудь имени, какого склонения, тогда примечайте, за которую пуговицу я возьмусь; если за вторую, то смело отвечайте: «Второго склонения». Со спряжениями поступайте, смотря на мои камзольные пуговицы, и никогда ошибки не сделаете.

Может быть, как раз в этот момент Денис Иванович задумал написать комедию про Митрофана.

* * *

Кстати, в те же годы возникло и университетское общежитие. Оно располагалось в старом здании, в верхнем этаже левого флигеля и представляло из себя 16 «номеров», в которых проживали задарма так называемые «казеннокоштные» студенты. Виссарион Белинский (сам из «казенных») так описывал свое жилище образца 1829—1831 годов: «Теснота, толкотня, крик, шум, споры; один ходит, другой играет на гитаре, третий на скрипке, четвертый читает вслух – словом, кто во что горазд! И извольте тут заниматься!»

Похоже, что традиции студенческих московских общежитий не меняются на протяжении столетий.

* * *

А как-то раз в Московский университет явился Пушкин. Не обучаться, не преподавать – в качестве гостя, притом гостя безумно почетного. Писатель И. А. Гончаров вспоми-

нал: «Когда Пушкин вошел с министром Уваровым, для меня точно солнце озарило всю аудиторию: я в то время был в чадку обаяния от его поэзии. Перед тем однажды я видел его в церк-ви, у обедни – и не спускал с него глаз. Черты его лица врезались у меня в памяти. И вдруг, этот гений, эта слава и гордость России – передо мной в пяти шагах! Читал лекцию Давыдов, профессор истории русской литературы. – «Вот вам теория искусства», – сказал Уваров, обращаясь к нам, студентам, указывая на Давыдова, – «а вот и само искусство», – прибавил он, указывая на Пушкина. Он эффектно отчеканил эту фразу, очевидно, заранее приготовленную. Мы все жадно впились глазами в Пушкина. Давыдов оканчивал лекцию. Речь шла о «Слове о полку Игореве». Тут же ожидал своей очереди читать лекцию после Давыдова и Каченовский. Нечаянно между ними завязался по поводу «Слова о полку Игореве» разговор, который мало-помалу перешел в горячий спор. – «Подойдите ближе, господа, – это для вас интересно», – пригласил нас Уваров, и мы тесной толпой, как стеной, окружили Пушкина, Уварова и обоих профессоров. Не умею выразить, как велико было наше наслаждение – видеть и слышать нашего кумира.

Я не припомню подробностей их состязания, – помню только, что Пушкин горячо отстаивал подлинность древнерусского эпоса, а Каченовский вонзал в него свой беспощадный аналитический нож. Его щеки ярко горели алым румянцем, и глаза бросали молнии сквозь очки. Может быть, к это-

му раздражению много огня прибавлял и известный литературный антагонизм между ним и Пушкиным. Пушкин говорил с увлечением, но, к сожалению, тихо, сдержанным тоном, так что за толпой трудно было расслышать. Впрочем, меня занимал не Игорь, а сам Пушкин».

Впрочем, поначалу Александр Сергеевич разочаровал будущего русского классика и создателя «Обломова»: «С первого взгляда наружность его казалась невзрачною. Среднего роста, худощавый, с мелкими чертами смуглого лица. Только когда взглядишься пристально в глаза, увидишь задумчивую глубину и какое-то благородство в этих глазах, которых потом не забудешь. В позе, в жестах, сопровождавших его речь, была сдержанность светского, благовоспитанного человека.

Лучше всего, по-моему, напоминает его гравюра Уткина с портрета Кипренского. Во всех других копиях у него глаза сделаны слишком открытыми, почти выпуклыми, нос выдающимся – это неверно. У него было небольшое лицо и прекрасная, пропорциональная лицу голова, с не густыми, кудрявыми волосами».

Другие студенты были более суровы. Больше всего их поразило сходство поэта с обезьяной. Кто-то даже запустил на этот случай восьмистишие:

Мопса старая вступила
С обезьяной в страшный спор:
Утверждала, говорила,
Что песнь Игорева вздор.

Обезьяна строит рожи,
Просит факты указать;
Мопса рвется вон из кожи
И не может доказать.

К счастью для Пушкина, он так и не узнал об этом стихотворном посвящении, как не узнал о нем и «мопса» Каченовский.

* * *

16 марта 1831 года в здании на Моховой произошла так называемая «Маловская история». Это – одно из ярчайших событий в летописи Московского университета.

Господин Малов был профессором политического отделения университета. Он слыл человеком недалеким и грубоватым, а кроме того, придерживался реакционных взглядов. Разумеется, все это не нравилось либерально настроенному студенчеству. На вопрос: «Сколько у вас профессоров?» слушатели политического курса, как правило, отвечали: «Без Малова девять».

Профессор же ничего не замечал и продолжал читать лекции, наказывать особо энергичных юношей, словом – исполнять свои обязанности, как он их себе представлял.

В конце концов, студенты сговорились изгнать его из аудитории. Дождавшись, пока господин Малов сделает первое за лекцию замечание, студенты принялись шаркать под столами.

– Вы выражаете свои мысли, как лошади, ногами, – произнес Малов.

На что студенты закричали:

– Вон его, вон, да сгинет.

Они кричали по-латыни и по-русски. В конце концов Малов не выдержал и начал пробираться к двери. Студенты побежали вслед и, как корову, выгнали господина профессора на Моховую улицу. Следом полетели его калоши.

Разумеется, было расследование, зачинщики (в том числе Лермонтов и Герцен) подверглись наказанию карцером. Но главное – не это. Император Николай Павлович произвел свое расследование этой истории и высочайше утвердил волю студентов – отставил Малова.

Видимо, это был единственный случай, когда монарх оказался на стороне бунтовщиков.

* * *

А спустя год в Московский университет поступил будущий писатель Константин Аксаков. И оставил замечательнейший мемуарчик под названием «Воспоминание студентства». Судя по «воспоминанию», жизнь в университете не была похожа ни на что вообще – настолько самобытен был этот мирок: «Грубые шутки, дикие буйные выходки студентов, бывшие некогда, давно миновали. Время смягчает нравы; студент-ская свобода не исчезла, но молодость уже не увлеклась, как прежде, одним кипеньем крови, бо-

лее и более слыша в себе умственные и нравственные силы. Живость молодости высказывала себя в более шуточных проделках, мало-помалу исчезающих в свою очередь. Когда я поступил на первый курс, еще слышались и повторялись рассказы между студентами о недавних проказах, довольно добродушных, случившихся только что передо мною и при мне уже не повторявшихся; и эти проказы, хотя так недавно происходившие, становились уже очевидно преданием.

Рассказывали, что незадолго перед моим вступлением, однажды, когда Победоносцев, который читал лекции по вечерам, должен был прийти в аудиторию, студенты закутались в шинели, забились по углам аудитории, слабо освещаемой лампою, и, только показался Победоносцев, грянули «се жених грядет во полунощи». Рассказывали, что Заборовский, бывший ещё в это время в университете, принёс на лекцию Победоносцева воробья и во время лекции выпустил его. Воробей принялся летать, а студенты, как бы в негодовании на такое нарушение приличия, вскочили и принялись ловить воробья; поднялся шум, и остановить ревностное усердие было дело нелёгкое. Все эти шутки могли бы иметь свою жестокую сторону, если бы Победоносцев был человеком жалким и смиренным; но он, напротив, был не таков: он бранился с студентами, как человек старого времени говорил им ты; они не оскорблялись, не отвечали ему грубостями, но забавлялись от всей души его гневом.

На первом курсе я застал еще Победоносцева, препода-

дававшего риторику по старинным преданиям, невыносимо скучно... Оболенский переводил с нами Гомера... Трехтысячелетняя речь божественного Гомера раздавалась в Москве, на Моховой, в аудитории Московского университета перед русскими юношами, обращавшими больше внимания на смешную фигуру профессора, чем на дивные слова Одиссеи. Обыкновенно профессора наши переводили сами, и переводящему студенту оставалось только искусно повторять слова профессора, чтобы не обратиться в совершенного слушателя.

Странное дело! Профессора преподавали плохо, студенты не учились и скорее забывали, что знали прежде; но души их, не подавленные форменностью, были раскрыты, – и бессмертные слова Гомера, возносясь над профессором и над слушателями, говорившие красноречиво сами за себя... и события исторические, выглядывавшие с своим величием даже из лекций Гастева, и вдохновенные речи Шиллера и Гете, переводимые Герингом, падали более или менее сознательно, более или менее сильно в раскрытые души юношей – лишь бы они только не противились впечатлению, – нередко не замечавших приобретения ими внутреннего богатства! Впрочем, я, собственно, давно уже читал поэтов; я прочел еще прежде всю Илиаду в переводе Гнедича с невыразимым наслаждением, и думаю, что свобода студенческих моих занятий, не дав мне много сведений положительных, много принесла мне пользы, много просветила ме-

ня и способствовала самостоятельной деятельности мысли. Что же было бы, если б, при этой свободе студенческой университетской жизни, было у нас живое, глубокое слово профессора!»

Действительно – не выдуманное, а настоящее студенческое братство.

Тем не менее, преподаватели, за редким исключением, были скорее все-таки фигурами экзотическими и комичными. Некто А. Д. Галахов вспоминал: «Сказать правду, некоторые преподаватели своим нравом, либо странностью привычек и грубостью обращения, либо, наконец, безынтересностью лекций... вызывали слушателей на невнимательность и беспорядок. Например, Н. А. Бекетов, читавший нам исторические вспомогательные науки (хронологию, генеалогию, геральдику и нумизматику), постоянно являлся в таком костюме, который заставлял нас невольно смеяться: он или сидел на нем мешком, или обтягивал его до неприличной узкости. И вот у нас сложилось мнение, что профессор не заказывает себе платья у портного, а по скупости покупает готовое и ношеное на толкучем рынке. Другой профессор, преподававший начала русского слога (П. В. Победоносцев), любил декламировать триады из од Державина с семинарско-певучею дикцией, с долгим протяжением на тех словах, которые вовсе того не требовали...

Среди декламации, заметив глазенье студента по сторонам или разговор с товарищем, он останавливался и делал

ему выговор тоже нараспев: «Матавкин, братец, ничего ты не слушаешь; все шалишь да вертишься на одном месте, словно ты на иголках». – «Я слушаю, Петр Васильевич». – «Коли слушаешь, повтори, о чем я сейчас говорил?» – «Вы сказали, что я словно на иголках». Ответ, разумеется, покрывался общим дружным смехом; а профессор, покачав головой, снова затягивал стихи из Державина. С. А. Смирнов знакомил нас с законоведением. Однажды говорил он о том, что в каждом уездном городе главное лицо городничий, за исключением Мурома; там полицмейстер, а не городничий.

– Неправда, – возразил ему какой-то студент, – там тоже городничий.

– Ан полицмейстер.

– Нет, городничий: я сам из Мурома.

– И я был в Муроме летом; извозчик, на котором я приехал, поссорился со мной, и нас водили на разбирательство к полицмейстеру: стало быть, там полицмейстер.

По окончании лекции толпа студентов окружала Семена Алексеевича, провожала его в сени. Здесь-то, на дороге, он выдерживал осаду от пустых речей и потешных выходок. У него был дом на конце Покровского бульвара, приносящий ему немалый доход. Нижний этаж занимали те существа, которых Карамзин назвал «нимфами радости». Студенты проведали о том, и вот один из них приступает к нему с просьбой отдать ему в наем небольшую, но отдельную комнату.

– Я слышал, – говорит он, – что в нижнем этаже вашего дома живут...

– Ну, тут толковать нечего – живет ли кто или не живет, – останавливал его полурассерженный, полусконфуженный профессор, – они тоже платят деньги, да еще аккуратнее, чем знатные барыни».

Кстати, преподавал господин Смирнов довольно скверно. Просто читал по книге – да и все.

* * *

Университет практически всегда был в оппозиции к монаршей власти. Мемуарист Н. В. Давыдов вспоминал о событиях рубежа 1860—1870-х годов: «В отдельных студенческих кружках усилилось зародившееся, конечно, еще раньше брожение политического характера... В аудиториях во время междулекционных перерывов появлялись иногда ораторы, не непременно из своих студентов, бывали даже гости из Петербурга, и состоялось несколько сходок, в большинстве на университетском дворе, за старым университетом. Говорилось на них, кроме вопросов академической жизни, о начавшейся реакции, о необходимости протеста со стороны учащейся молодежи, о потребности общестуденческой организации и взаимной поддержке кружков и т. п. Около этого времени было произведено между студентами довольно много обысков и несколько арестов, что вызвало, само собой разумеется, протесты и требования

об освобождении товарищей. Все это было, однако, лишь подготовлением и началом тех бурь, которые впоследствии разразились среди московского студенчества, приняв гораздо более острый характер».

Власти, разумеется, уже не защищали расшалившихся студентов. Например, в 1870 году, когда студенты-медики выступили против преподавателя Полунина и отказались слушать его лекции, все закончилось лишь тем, что 17 самых недовольных слушателей были отчислены. Прочие студенты возмутились, но единственное, на что они были способны, – собрать некоторую сумму денег для поддержки своих бывших однокашников.

Правительство здесь безусловно приняло сторону руководства университета.

* * *

Вступительный экзамен в университет – это одновременно и праздник, и кошмар. Вчерашний гимназист, а то и вообще барчук, который обучался дома, вдруг оказывался в главной альма-матер государства. Для многих вступительные испытания оказывались настоящими испытаниями, которые запоминались на всю жизнь. Вот, например, как перенес их Николенька Иртеньев из трилогии Л. Н. Толстого «Детство. Отрочество. Юность»: «Шестнадцатого апреля я в первый раз под покровительством St.-Jerome'a вошел в большую университетскую залу. Мы приехали с ним в нашем доволь-

но щегольском фэтоне. Я был во фраке в первый раз в моей жизни, и все платье, даже белье, чулки, было на мне самое новое и лучшее. Когда швейцар снял с меня внизу шинель и я предстал пред ним во всей красоте своей одежды, мне даже стало несколько совестно за то, что я так ослепителен. Однако едва только я вступил в светлую паркетную залу, наполненную народом, и увидел сотни молодых людей в гимназических мундирах и во фраках, из которых некоторые равнодушно взглянули на меня, и в дальнем конце важных профессоров, свободно ходивших около столов и сидевших в больших креслах, как я в ту же минуту разочаровался в надежде обратить на себя общее внимание, и выражение моего лица, означавшее дома и еще в сенях как бы сожаление в том, что я против моей воли имею вид такой благородный и значительный, заменилось выражением сильнейшей робости и некоторого уныния. Я даже впал в другую крайность и обрадовался весьма, увидав на ближайшей лавке одного чрезвычайно дурно, нечистоплотно одетого господина, еще не старого, но почти совсем седого, который, в отдалении от других, сидел на задней лавке. Я тотчас же подсел к нему и стал рассматривать экзаменующихся и делать о них свои заключения. Много тут было разнообразных фигур и лиц, но все они, по моим тогдашним понятиям, легко распределялись на три рода.

Были такие же, как я, явившиеся на экзамен с гувернерами или родителями... Все таковые были с пушисты-

ми подбородками, имели выпущенное белье и сидели смиренно, не раскрывая книг и тетрадей, принесенных с собою, и с видимой робостью смотрели на профессоров и экзаменные столы. Второго рода экзаменующиеся были молодые люди в гимназических мундирах, из которых многие уже брили бороды. Эти были большей частью знакомы между собой, говорили громко, по имени и отчеству называли профессоров, тут же готовили вопросы, передавали друг другу тетради, шагали через скамейки, из сеней приносили пирожки и бутерброды, которые тут же съедали, только немного наклонив голову на уровень лавки. И, наконец, третьего рода экзаменующиеся, которых, впрочем, было немного, были совсем старые, во фраках, но большей частью в сюртуках, и без видимого белья. Эти держали себя весьма серьезно, сидели уединенно и имели вид очень мрачный. Тот, который утешил меня тем, что наверно был одет хуже меня, принадлежал к этому последнему роду. Он, облокотившись на обе руки, сквозь пальцы которых торчали всклокоченные полуседые волосы, читал в книге и, только на мгновение взглянув на меня не совсем доброжелательно своими блестящими глазами, мрачно нахмурился и еще выставил в мою сторону глянцевитый локоть, чтоб я не мог подвинуться к нему ближе. Гимназисты, напротив, были слишком общительны, и я их немножко боялся. Один, сунув мне в руку книгу, сказал: «Передайте вон ему»; другой, проходя мимо меня, сказал: «Пустите-ка, батюшка»; третий, перелезая через лавку,

уперся на мое плечо, как на скамейку. Все это мне было дико и неприятно; я считал себя гораздо выше этих гимназистов и полагал, что они не должны были позволять себе со мною такой фамильярности. Наконец начали вызывать фамилии; гимназисты выходили смело и отвечали большей частью хорошо, возвращались весело; наша братья робела гораздо более, да и, как кажется, отвечала хуже. Из старых некоторые отвечали превосходно, другие очень плохо. Когда вызвали Семенова, то мой сосед с седыми волосами и блестящими глазами, грубо толкнув меня, перелез через мои ноги и пошел к столу. Как было заметно по виду профессоров, он отвечал отлично и смело. Возвратившись к своему месту, он, не узнавая о том, сколько ему поставили, спокойно взял свои тетрадки и вышел».

И вправду, для барчука – испытание сложное. Впрочем, явись он в здание на Моховой сегодня, когда и нравы посвободнее, и никакой швейцар внизу шинель не принимает – может, и вовсе бы скончался от инфаркта.

* * *

Одним из колоритнейших преподавателей Московского университета был Николай Васильевич Бугаев, отец знаменитого писателя Андрея Белого. Читал он математику и, строго говоря, был сухарем. Хотя не без чудачеств.

Например, профессор на дух не выносил ни губернатора Москвы, ни самого царя. И не скрывал своих чувств. На-

счет первого у математика было одно лишь слово – «педераст». Второй – «мальчишка». Коллеги это знали и старались не упоминать в присутствии Бугаева двух этих деятелей. А то потом беды не оберешься.

Студентов же профессор любил, однако был подчас суров. Если председательствовал на экзамене, то обязательно следил, чтобы никто не избежал судилища. Случалось, что какой-нибудь недоучившийся школяр, чувствуя слабость подготовки, пытался улизнуть. Тогда Николай Васильевич строго внушал ему:

– Стыдитесь, батюшка! Идите-ка, тащите билет.

– Не пойду, – ныл школяр, – не хочу срамиться.

– А вы осрамитесь, – внушал неожиданную мысль Бугаев. – Не работали, а мужества осрамиться нет! Ну что ж такого-то: осрамитесь – и кончено!

И, взяв школяра за рукав, силком подтаскивал к столу с билетами. Подбадривал, пошучивал – и робости как ни бывало.

А потом обязательно спросит:

– Ну, как-с?

– Выдержал, – ответит радостный школяр.

– Вот видите! – восклицал еще более радостный преподаватель. – А вы говорите.

Не секрет, что Андрей Белый списал чудака-математика Коробкина для романа «Москва» именно со своего дорогого папаши.

Герой романа вообще вытворял невозможные вещи. Как-то раз, выйдя из аудитории на Моховую, задумался – вот бы повычислять! И в тот момент перед ним вдруг возникла доска. Уни-верситетская. Математик даже не подумал – что это? Откуда?

«Соблазненный профессор, ощупав в кармане мелок, чуть не сбивши прохожего, чуть не наткнувшись на тумбу, – стремительно соскочил с тротуара: стоял под квадратом; рукою с мелком он выписывал ленточку формулок: преинтересная штука!..

– Так-с, так-с, так-с; тут подставить; тут – вынести.

И получился, – да, в корне взять, – перекувырк, изумительный, просто: открытие просто. Еще бы тут скобочку: только одну.

Но квадрат с недописанной скобочкой – чорт дери – тронулся: лихо профессор Коробкин за ним подсигнул, попадая калошею в лужу, чтоб выкруглить скобочку: черный квадрат – ай, ай, ай – побежал; начертания формул с открытием – улепетывали в невнятицу: вся рациональная ясность очерченной плоскости вырывалась так-таки из-под носа, подставивши новое измеренье, пространство, роившееся очертаниями, не имеющими отношения к «фермате» и к перекувырку; перекувырк был другой: состоянья сознания, начинающего догадываться, что квадрат был квадратом кареты.

Карета поехала...

Профессор с рукою, зажимающей мел, поднимая тот мел,

развивал ускорение вдоль Моховой, потеряв свою шляпу, развеявши черные крылья пальто; но квадрат, став квадратиком, силился там развивать ускорение; и улепетывали в невнятицу – оба: квадрат и профессор внутри полой сферы вселенной – быстрее, быстрее, быстрее! Но вдвинулась вдруг лошадиная морда громаднейшим ускореньем оглобли: бабахнула!

Тело, опоры лишенное, – падает: пал и профессор – на камни со струечкой крови, залившей лицо.

А вокруг уже сгурьбились: тащили куда-то».

Впрочем, обошлось. Профессор математики остался жив – правда, довольно долго пролежал в постели. А тем временем студенты посвящали ему трогательные стихи:

Пал вчера, оглоблей сбитый,
Проходивший Моховой
Математик знаменитый —
Посреди мостовой
С переломанной рукой.
Вырывается невольно
Из студенческих грудей:
«Протестуем! Недовольны!
Бьют известнейших людей!..»
Выздоровливай скорей.

Кстати, и сам профессор из романа был не прочь иной раз сочинить стишок. Ну, например, посвящение Тому, лю-

бимой собачке:

Грезит грызней и погоней
Том, – благороден и прост,
В воздухе, желтом от вони,
Нос подоткнувши под хвост.

Домашние не обижались, ведь они были людьми, привыкшими к чудачествам профессора.

* * *

Преподавал в Московском университете и Владимир Иванович Вернадский. Именно он поднял минералогию на должный уровень, а раньше ей никто особого внимания не уделял. Вернадский писал: «Я был в негодовании по поводу состояния коллекции Московского университета. Я нашел значительную часть минералов в кучах на полу, без этикеток и без номеров и застал Кислаковского, который в ожидании нового профессора начал приводить в порядок коллекцию, чистил минералы, уничтожая этикетки и приклеенные номера. Я сразу увидел, что эти номера указывают нахождение каких-то каталогов, которых совсем не было, по словам Кислаковского».

Правда, пара каталогов все-таки нашлась. А энтузиасту Кислаковскому были разъяснены его обязанности.

Кстати, к студентам господин Вернадский относился очень даже деспотично. И не стеснялся признаваться в этом:

«Самое тяжелое было то, что мне пришлось их экзаменовать. Интерес к естественным наукам у них не было (речь, кстати говоря, идет о медицинском факультете – АМ.). Вошло в обычай, что студент заявлял, что он «без боя», и получал тройку, не будучи спрошенным. На такое соглашение я решительно не пошел.

В результате этого экзамена я поставил 42 двойки, и поднялся страшный гвалт. Я дал им всем переэкзаменовки. На другой день меня вызвал декан, но я просил его не вмешиваться. Мне казалось, я был победителем. Курс принял мою сторону, студенты подтянулись, и почти все выдержали, кроме двух-трех человек».

Словом, господа студенты, кроме многочисленных своих латыней, химий, анатомий и так далее, получили еще горькую необходимость учить минералы – они, как не трудно догадаться, эскулапам совершенно ни к чему. А «два-три» несчастных слушателя были вынуждены порвать с надеждой сделаться врачом – из-за солонцов, бериллов и гранитов.

* * *

Правда, особой популярностью среди студентов пользовались не гении с мировым именем, а сотрудники совсем иного плана. Книгоиздатель Михаил Сабашников об одном из них писал: «Вспоминая о кабинете сравнительной анатомии... нельзя не упомянуть о кабинетном служителе, солдате, одноглазом Прохоре. Инвалид войны и георгиевский кавалер,

Прохор уже давно утратил всякий намек на молодцеватость, и трудно было себе даже представить, что некогда этот человек мог отличиться храбростью и заслужить Георгия. Он обрюзг и опустился, страдал при том запоем. При всем том работу свою, нельзя сказать, чтобы легкую, он выполнял исправно, конечно, когда был трезв. При запое же он выбывал из строя. Непреодолимое стремление к спирту овладевало им, и, окруженный в кабинете спиртовыми препаратами, он не мог тогда удержаться, чтобы не хлебнуть из них соблазнительной влаги. Никакие запреты, угрозы или увещания не действовали. Раз кто-то из студентов положил в свой препарат рвотный камень. Прохор, упорно отрицавший пользование спиртом из препаратов, был уличен отчаянными припадками рвоты. Но он выдержал характер и продолжал запирается. Жена Прохора брала белье на стирку, как, впрочем, большинство жен университетских служащих. Сушить белье Прохор вздумал как-то в кабинете, развешивая белье на ночь на расставленных в кабинете скелетах».

Именно к таким сотрудникам студенты и питали наибольшую приязнь. К безобидным, добродушным и с какой-нибудь постыдной страстью. Хотя и угощали иной раз «рвотным камнем».

Впрочем, привычка Прохора спяну развешивать кальсоны по скелетам забавляла студентов – в большинстве своем если и не безбожников, то больших скептиков – недолго. Потому как одна вполне правдивая история заставила их отне-

стись к сакральному не без уважения.

Случилось так, что некий Константин Андреев пришел к экзамену неподготовленным. Не из лени или склонности к разгульному образу жизни. Просто Константин Андреевич взял в обучение купеческого сына. Ученик был не ахти каких способностей, и педагогу приходилось тратить на него гораздо больше времени, чем было запланировано изначально. В результате времени на собственное обучение не осталось.

Разумеется, Андреев ночь перед экзаменом не спал – штудировал науку. Безрезультатно. Так что явился он на испытание мало того, что без знаний – так еще и абсолютно сонный. Сел в аудиторию, принялся снова читать лекции – и задремал. Как вдруг во сне к нему величественным шагом подошел Георгий Победоносец и громогласно приказал: «Проснись! Прочитай билет номер такой-то!»

Андреев, естественно, проснулся, быстро прочитал указанный святым билет, после чего его сразу же вызвали экзаменаторы, и, к удивлению студента, Победоносец оказался прав.

Надо ли говорить, что после этого события Андреев отправился служить Георгию молебен, после чего приобрел его икону и держал ее до самой смерти на стене, над письменным столом.

Дисциплины, которые преподавались в университете, были самыми разнообразными, направленными на то, чтобы из учебного заведения вышел полноценный и разносторонне образованный специалист. Внимание уделялось даже мелочам – например, тому, как человек будет свои гениальные мысли выражать. Антон Павлович Чехов писал: «В Московском университете с конца прошлого года преподается студентам декламация, то есть искусство говорить красиво и выразительно. Нельзя не порадоваться этому прекрасному нововведению. Мы, русские люди, любим поговорить и послушать, но ораторское искусство у нас в совершенном запустении. В земских и дворянских собраниях, ученых заседаниях, на парадных обедах и ужинах мы застенчиво молчим или же говорим вяло, беззвучно, тускло, „уткнув брады“, не зная, куда девать руки; нам говорят слово, а мы в ответ – десять, потому что не умеем говорить коротко и не знакомы с той грацией речи, когда при наименьшей затрате сил достигается известный эффект *non multum sed multa* (немного (по количеству), но многое (по содержанию) – АМ.) ... Ходит анекдот про некоего капитана, который будто бы, когда товарища его опускали в могилу, собирался прочесть длинную речь, но выговорил „будь здоров!“, крикнул – и больше ничего не сказал. Нечто подобное рассказывают про почтенного В. В. Стасова, который несколько лет назад в Клубе художников, желая прочесть лекцию, минут пять изображал из себя молчаливую, смущенную статую; постоял на эст-

раде, помялся, да с тем и ушел, не сказав ни одного слова. А сколько анекдотов можно было бы рассказать про адвокатов, вызывавших своим косноязычием смех даже у подсудимого, про жрецов науки, которые „изводили“ своих слушателей и, в конце концов, возбуждали к науке полнейшее отвращение».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.